

Д.Н.МАМИН
СИБИРЯК



Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк
Конец первой трети
Серия «Из далекого прошлого»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=322862

Мамин-Сибиряк

Дмитрий Наркисович

Конец первой трети

Из далекого прошлого

I

Первая учебная треть, то есть время до рождества, – самая тяжелая учебная страда, особенно для новичков. Целых четыре месяца самой отчаянной работы при самых невозможных условиях. Получалось что-то вроде маленькой детской каторги... По крайней мере лично мне казалось, что я уже никогда больше не увижу ни родного Висима, ни родных зеленых гор, ни дорогих родных людей... Время точно остановилось, а последний, четвертый месяц доставался тяжелее всего. Дни такие короткие, что мы уходили в училище, когда было еще темно, и возвращались на квартиру, когда начинало смеркаться. Едва успевали пообедать засветло. Прибавьте к этому еще рождественский шестинедельный пост, когда наше питание сводилось на форменную голодовку.

Итак, наши «деньки» убывали с тюремной медленностью. Давно уже выпал снег, давно установился отличный санный

путь, давно уже велись душевные разговоры о своих родных углах... У каждого разыгрывался специальный детский патриотизм. Разве может быть что-нибудь лучше Висима? На эту тему происходили жестокие споры, заканчивавшиеся во славу родины очень нередко жестокой потасовкой. Глухие медвежьи углы рисовались в самом поэтическом свете, как своего рода обетованная земля. Особенно нервные мальчики иногда бредили по ночам своей родиной. Трудно далее описать то волнение, которое охватывало нас всех в ожидании поездки на рождество. Ведь целые две недели провести дома, а это, как известно, целая вечность.

Последние две недели перед, отпуском превратились в какую-то пытку. Даже зубрили не с прежним ожесточением, а как-то вяло, без артистического увлечения. Мы уговорились ехать вместе с Александром Иванычем до Черноисточинского завода, откуда ему до Тагила было рукой подать, как мне до Висима. Предстояло сделать зимним путем верст полтора-раста, с двумя ночевками в дороге, но все это были, конечно, пустяки, а только бы ехать домой.

Последние дни перед отпуском сделались невыносимыми. Всеми овладело молчаливое уныние. Весь запас детской энергии был исчерпан. Особенно унылым временем были наши «занятные часы». Некоторые ученики изобретали всякие способы, чтобы только убить как-нибудь время. Получались действия неменяемого характера. Помню, как Ермилыч все «занятные часы» проводил в том, что чинил каран-

даш. Очинит, напишет строку, сломает и опять примется чинить.

– Ты лучше его отдай мне, – говорил Александр Иванович в качестве аккуратного человека. – Деньги плачены...

Ермилыч не понимал этих добрых советов и продолжал свою работу, пока не кончился весь карандаш. Другие резали и рвали бумагу, и вообще получался целый ряд бессмысленных и нецелесообразных действий. Раз, когда Ермилыч с молчаливым ожесточением хотел приняться за новые карандаш, по лестнице послышались тяжелые инспекторские шаги, которые заставили всех оцепенеть. Тяжело растворилась и затворилась дверь в передней, и затем шаги стихли. Все затаили дыхание, не понимая, в чем дело. Но вот дверь в комнату растворяется, и на пороге останавливается взлохмаченная, высокая фигура деревенского дьячка. Вся квартира вздохнула точно одними легкими. Да, это был он, тот самый, который делал нас свободными.

Трудно себе представить ту бешеную радость, которая охватила всю нашу квартиру. Всякая субординация была забыта. Дьячка окружили со всех сторон, ощупывали, точно прищельца с того света, и засыпали вопросами. Этот взрыв внимания, видимо, сконфузил нашего гостя, и он смущенно оглядывался по сторонам.

– Идите к нам... – тащили его в разные стороны.

Дьячок был еще не старый человек, высокого роста, сутулый и какой-то серый. По робости, проявленной им с пер-

вых шагов, можно было решить безошибочно, что это был кровный бурсак, в свое время извергнутый из недр бурсы за «великовозрастие» или «древоголовие». Он приехал за сыном, второклассником, и поздоровался с ним как-то виновато, точно боялся проявить свои родительские чувства.

– Ну, здравствуй!.. Учишься?

– Учусь...

Сын своего отца, белокурый мальчик-крепыш, смущался не меньше отца.

– А я того... – бормотал дьячок, делая ненужный жест длинной корявой рукой. – Я в духовное правление... с отчетом... ну, значит, того... раньше приехал.

Он присел на один из сундуков и улыбался. Школяры окружили его живой стеной. Кто-то даже взлез ему на плечи. Вообще этот смущенный богатырь внес с собой струю деревенской воли и запах родных деревенских полей. Через полчаса он сидел за ученическим столом и учил петь по обыкновению, а ему подтягивали полтора десятка молодых, свежих голосов.

После ужина наш гость принес целый мешок своих деревенских гостинцев пшеничных кренделей и репы. Нашему восторгу не было границ.

На следующее утро уже все училище знало, что к нам приехал дьячок, и все нам завидовали, – а вечером кто-то нарочно прибежал из бурсы, чтобы посмотреть на настоящего деревенского дьячка. Наша общая радость была омраче-

на только печальным известием, которое привез с собой наш гость, именно, что отец нашего Павла Иваныча Хвоста умер. Мальчик горько плакал, а мы не умели его утешить.

– Что же делать, в бурсу поступишь... – как-то виновато повторял дьячок. – И в бурсе люди живут.

Утешение было плохое.

II

Чистых радостей не существует, потому что под каждой радостью, прямо или косвенно, пряталось чье-нибудь страдание. Представьте себе самую простую картину: вы садитесь обедать. Вы работали целый день – значит, обед вами заработан, и вы, кажется, никого не обижаете тем, что утоляете свой голод. Но вот вы сели за стол, подано кушанье, и вы слышите где-то детский плач. Что такое? Кто плачет? Плачет голодный ребенок, который не ел несколько дней. А может быть, их несколько? Неужели вы не отдадите им своего обеда? Вы несколько не виноваты, что эти дети голодны, и все-таки почувствуете себя как будто виноватым и не имеющим права на вкусный обед, когда рядом с вами стоит худенький ребенок и смотрит на ваш обед голодными глазами.

Так было и с нашей радостью по случаю первого отпуска на побывку домой. Да, мы, отцовские дети, ехали домой, нас ждали с нетерпением родные, мы предвкушали уже радость свидания, и тут же рядом оставалась несчастная, го-

лодная бурса, которой решительно некуда было ехать. Мы, конечно, не были виноваты, что пользовались своим отпуском на праздники, но наша чистая по своему существу радость отравляла и без того не красную жизнь бездомного сироты бурсака... Я это в первый раз почувствовал, когда случайно заглянул перед отъездом в бурсацкую «занятную», где сейчас мрачно затихла вся бурса. Из гордости бурса открыто не проявляла зависти, но чувствовались именно напускная холодность и деланное равнодушие. Тетеря догнал меня в коридоре и угрожающим тоном проговорил:

– Гостинцев привезешь?.. а? Привезешь? Смотри, всю рожу растворожу, зуб на зуб помножу...

Бедный Тетеря, мне было и жаль его и как-то совестно. Лучше бы уж он ударил меня...

Наша квартира превратилась в какой-то табор. Приехали подводы с трех уездов, большею частью – простые мужики, которые по пути привезли в город что-нибудь продавать, а в качестве обратной клади везли по домам поповичей. Татьяна Ивановна находилась в самом благодушном настроении, потому что получила к празднику кое-какие дары, главным образом – по части деревенской живности.

– С заводских-то немного получишь, – проворчала она по нашему адресу. – Хоть бы углей на самовар привезли...

– Ишь, старая карга¹, чего захотела! – ругался Ермилыч. – Мы сами угли-то на наличные денежки покупаем... Нашла

¹ Карга – по-татарски – ворона. (Прим. Д.Н.Мамина-Сибиряка.)

тоже: углей ей привези.

Приехавшие подводы уже не производили того впечатления, как появление первого дьячка. Весь запас восторгов был уже исчерпан, и мы начали привыкать к собственной радости. Деревенские мужики в свою очередь относились к нам, как к живой клади, вроде тех поросят и телят, которых они доставляли в город.

Да, все подводы были налицо, и не было только нашей подводы с Александром Иванычем, что повергло нас в молчаливое отчаяние. Наступала последняя ночь, а подводы нет как нет. Завтра утром все уедут, а мы останемся одни в пустой квартире. Эта мысль просто уничтожала... А вдруг наш возница замерз где-нибудь по дороге? Лошадь могла сломать ногу, могли по дороге напасть разбойники или волки, – все могло быть, и мы страшно мучились. Вечером мы прислушивались ко всякому шороху, и все напрасно. Измученный ожиданием, Александр Иваныч заявил:

– Этот дурак просто заблудился в городе и не может нас найти... Я пойду искать его по постоянным дворам. Некуда ему больше деваться...

Было темно. На улице трещал тридцатиградусный мороз. Но это нас не удержало. Мы побежали в Лягушку, как называлась улица, где были постоянные дворы, и сделали обход. Заблудившегося возницы нигде не оказалось, и мы вернулись домой в молчаливом отчаянии.

– Я этого дурака вот как вздую, – ругался Александр Ива-

ныч, поднимаясь по лестнице в нашу квартиру.

А в нашей передней на каких-то узлах сидел сторбленный, худенький мужик с козлиной бородкой и жевал корочку домашнего хлебца. Это и был наш желанный возница, имя и фамилию которого я помню до сих пор: Илья Бушин, из деревни Захаровой, от которой до Висима всего восемь верст.

На другой день утром мы получили от инспектора отпускные свидетельства. Удивительно, как в два-три дня все сделались добрыми, решительно все, начиная с нашей хозяйки Татьяны Ивановны и кончая инспектором... Даже галки на крышах кричали как-то иначе, и дым из труб поднимался вверх не так, как вчера. Когда мы ехали по городским улицам, попадались всё удивительно добрые люди, которых раньше не приходилось видеть, а на хлебном рынке, где шел предпраздничный бойкий торг хлебом, овсом, рыбой и говядиной, такие добрые люди стояли густой толпой и от радости неистово галдели. Но всего лучше и совершеннее на свете были наша дорожная кошевка, бурая лошадь и возница Илья Бушин, составлявшие вместе как бы одно целое, лучше которого ничего решительно нельзя было придумать. Если в этот знаменательный день существовало в мире совершенство, то это совершенство называлось нашей кошевкой, которую тащила наша бурая лошадка и которой управлял наш Илья Бушин.

– Ужо надо ребятам гостинцу купить, – говорил Бушин, останавливаясь около ларька с кренделями.

Мороз стоял сильный, но мы его не чувствовали благодаря теплым шубам и одеялу из мохнатой киргизской овчины, а главное, конечно, благодаря своему настроению. Ведь такие счастливые минуты, как и всякое счастье, не повторяются...

Илья Бушин тоже, по-видимому, был совершенно счастлив и, оглядываясь на нас, все улыбался. Он был хотя и одет в шубу, но вся шея оставалась голой.

– Неужели тебе не холодно, Илья?

– Помилуйте, мы люди привычные... Приедем на станок и обогреемся.

– Понравилось тебе в городе? – спрашивал Александр Иваныч.

– Ничего, хорошо...

Обернувшись к нам и тряхнув шапкой, он прибавил:

– Только поговорка есть не совсем хорошая про город этот самый, будто в городе-то толсто звонят, да тонко едят...

Мы не могли не согласиться с такой поговоркой, которую испытали на себе.

Зимой Екатеринбург точно принаряжается и молодеет. Не было ни грязи, ни рытвин, – благодетель снежок покрыл все уличные недочеты. Наш верхотурский тракт проходил предместьем Мельковой, где дома делались все ниже и ниже, пока не превратились в жалкие лачуги, где ютилась городская бедность.

Когда город остался позади, Илья обернулся и с своей добродушной улыбкой проговорил:

– А ведь я города-то не видал совсем... В первый раз приехал, думаю, все высмотрю, да вот с тем и уехал, с чем приехал.

– В другой раз посмотришь...

– И то, видно, придется в другой раз посмотреть. Надо побывать да каменные дома поглядеть. Наш-то Висим как есть весь деревянный...

Наша кошевка довольно бойко катилась по убитой ступеньками трактовой широкой дороге. По сторонам тянулось зеленой стеной сосновый бор, сохранившийся под самым городом благодаря недремавшему оку бывшего горного начальства, когда все было поставлено на военную ногу. Я невольно припоминал, как осенью тащился по этому тракту в телеге и напрасно старался решить вопрос о том будущем, которое меня ожидало. Теперь уже все определилось, а впереди – целых две недели счастья...

Как только наша кошевка выехала за город, Александр Иваныч с необыкновенною солидностью достал папиросу и закурил ее, улыбаясь собственной безнаказанности. Я смотрел на него и не мог в нем узнать того хихикавшего Александра Иваныча, который наслаждался мальчишеским зверством. Да, это был совершенно другой человек, как были совершенно другими и все другие, ехавшие сейчас к себе домой.

– Ах, хорошо!.. – говорил Александр Иваныч, делая жестокую бурсацкую затяжку и закрывая от наслаждения глаза.

Ш

Есть неизъяснимая прелесть в простой русской гужевой езде, несмотря на все присущие ей недостатки, особенно по сравнению с паровыми путями сообщения. Неудобства как-то забываются, а остаются воспоминания лучшие об этих длинных упряжках, кормежках по постоянным дворам и целом ряде специально трактовых типичных людей, которые работают здесь свою тяжелую работу и зиму и лето. Я лично особенно люблю зимние поездки в открытой сибирской кошевке, только не по открытым степным местам, а горами и лесом, где картины чередуются одна за другой, как в панораме.

По верхотурскому тракту нам пришлось ехать сравнительно недолго, и после двух кормежек мы свернули с него влево, чтобы проехать «прямой дорогой» озерами. Путь сокращался верст на шестьдесят. Эта глухая лесная дорога, существующая только зимой, необыкновенно красива. Кругом – саженный снег, ели стоят, окутанные белым, снежным саваном, единственный признак жизни – бесконечное кружево заячьих следов, изредка пересекаемых глубокой волчьей тропой. Волчья стая бежит солдатским шагом, нога в ногу. В таком лесу зимой какая-то особенно торжественная тишина, как в пустой церкви. Дремучие ельники сменяются сквозными лиственничными перелесками, через которые брезжит сине-

ющая даль. И хорошо, и жутко, и хочется ехать по этой лесной пустыне без конца, отдаваясь специально дорожным думам.

Прямая дорога озерами проходит самыми глухими местами, где летом ни прохода, ни проезда, потому что на сотню верст разлеглись ржавое болото, озера и лес. Единственное селение на нашем пути был Таватуй, на крутом берегу озера того же имени. Это было настоящее раскольничье гнездо, забравшееся в неприступную глушь. Мы приехали в Таватуй уже ночью и перед самым селеньем встретили волчью стаю, пересекавшую озеро шеренгой.

– Вот как, милые; лопочут, – похвалил Илья. – Это они к палой лошади бегут, которую мы видели отсюда верстах в трех. Учужали...

Было еще часа два утра, но в некоторых избах уже светились приветливые огоньки. Это бабы-раскольницы топили печи для раннего рабочего завтрака. Все раскольники живут туго, и народ всё работающий, а бабы на отбор хозяйки. Попасть на ночлег было не легко. Наша кошевка останавливалась перед избой, Илья слезал с козел, стучал осторожно в волоковое окно и «молитвовался»:

– Господи, Иисусе Христе, помилуй нас!..

В окне показывалось женское лицо, и слышался голос:

– Аминь. Кто крещеный?

– А мы с Висиму, заводские... Из городу едем.

– Поезжайте дальше.

Мы напрасно «молитвовались» изб у пяти, пока нас не пустили в шестую, и то, вероятно, потому, что Илья сказал:

– Не замерзать же нам на улице... Есть ли на вас крест-то!

Раскольничий двор в лесных глухих местностях представляет из себя маленькую деревянную крепость и сверху наглухо закрыт тесовой крышей. В таком дворе и днем темно, пока не привыкнет глаз. Избы у зажиточных мужиков делятся теплыми сенями на две половины: передняя – жилая, а задняя – на всякий случай. Зимой заднюю избу редко топят. Мы попали в переднюю и сразу были охвачены благодетельным теплом. Нас встретила довольно неприветливо суровая старуха в кубовом сарафане.

– Эх, чайку бы напиться, – шепнул мне Александр Иванович, разминая окоченевшие от сидения и мороза ноги. – Только здесь какой самовар... Раскольники чаю не пьют.

Машинально, охваченный еще не остывшим чувством свободы и безнаказанности, он хотел раскурить папиросу, но пришлось бросить...

– Да ты где? – ворчала старуха. – Образа в избе, а ты, проклятый, табачище закурить хотел...

– Ну, я во дворе покурю...

– Двор спалишь!..

Папироса испортила все дело, и старая раскольница смотрела на нас, как на погибших окончательно людей, которые в таких молодых летах, а уж попали прямо в лапы антихриста.

Следующая очередь оказалась за мной. Мне захотелось

пить. Около печки стояла крашеная кадочка с водой, а на стенке висел ковш. Я подошел, взял ковш и хотел зачерпнуть воды, но старуха налетела на меня, как ястреб, выхватила ковш из моих рук и даже замахнулась им на меня.

– Да ты в уме ли, табачник?! – кричала она, размахивая ковшом. Испоганил бы посудину...

У раскольников считается грехом, если кто напьется из чужой посуды, и на случай необходимости держится уже «обмиршившаяся» посудина, то есть из которой пил кто-нибудь посторонний. Старуха сунула мне какую-то деревянную чашку и сама налила в нее воды, чтобы я не черпнул ею прямо из кадочки.

– Вот так угощенье, – ворчал Александр Иваныч, залезая на полати, где было жарко, как в бане. – Это называется: пожалуйте через забор шляпой шей хлебать.

В тепле мы, конечно, заснули как убитые, и тем тяжелее было пробуждение, когда Илья пришел и сказал нам, что лошадь запрежена и он уж вынес вещи в кошевку.

– Снежок падает, – сообщил он. – Ужо оттеплет к обеду...

Все-таки, хотя и сделалось значительно теплее, выходить из тепла на холод было крайне неприятно, да и спать хотелось до смерти.

Мы выехали, когда невидимое солнце, точно заслоненное от нас матовым живым стеклом из падавшего снега, уже поднялось. Отдохнувшая лошаденка бежала бодро. Раскури-

вая папиросу, Александр Иванович рассказал, какую штуку он устроил проклятой старухе.

– Не пожалел трех папирос и раскрыл их по всем полалям... Пусть старуха почиает. Жаль, что не было с собой нюхательного табаку.

Эта школьническая выходка рассмешила Илью до слез, и он, вытирая глаза кулаком, спрашивал в десятый раз:

– Так старуха начихается досыта?.. Ну и ловко... ха-ха!..

Погода изменилась согласно предсказанию Ильи, и мы остальной путь сделали в свое удовольствие. В Черноисточинском заводе мне пришлось расстаться с Александром Ивановичем, которому нужно было ехать в Тагил.

Теперь оставалась уже знакомая и самая красивая часть дороги, по которой я проезжал десятки раз. Начинался горный перевал, кругом обступали знакомые зеленые горы, на каждом повороте открывался новый вид. Когда мы подъезжали к деревне Захаровой, наша лошадка сделала попытку повернуть домой.

– Ах, лукавый живот! – возмущался Илья, подхлестывая лошадь кнутиком. – Ведь всего-то восемь верстов осталось. Тоже знает, где ее сеном кормят... Ах, лукавый животиче.

Через час езды показался и родной Висим, засыпанный глубоким снегом, из-под которого горбились одни крыши. У меня замерло сердце от радости... Наш дом тоже стоял совсем в снегу. Перед ним высились две горы снега, которые вырастали каждую зиму при очистке проезда в ворота.

Все были дома, как всегда. Общую семейную радость трудно описать, точно я вернулся с Северного полюса. Через полчаса вся семья уже сидела за самоваром, и отец, улыбаясь, говорил:

– Ну что, отведал бурсачкой науки?

Дорогой мысль о бурсе как-то замерла, замеченная дорожными впечатлениями, а тут я опять вспомнил о бедных бурсаках-сиротах, которым некуда было ехать, и чуть не расплакался. Бедные, милые бурсачки, как-то вы будете встречать рождество!..